ДБ
420
Н63

Николаев М.

"Воспоминания начальника боевой дружины"

М., 1926.

ДБ
420
Н63

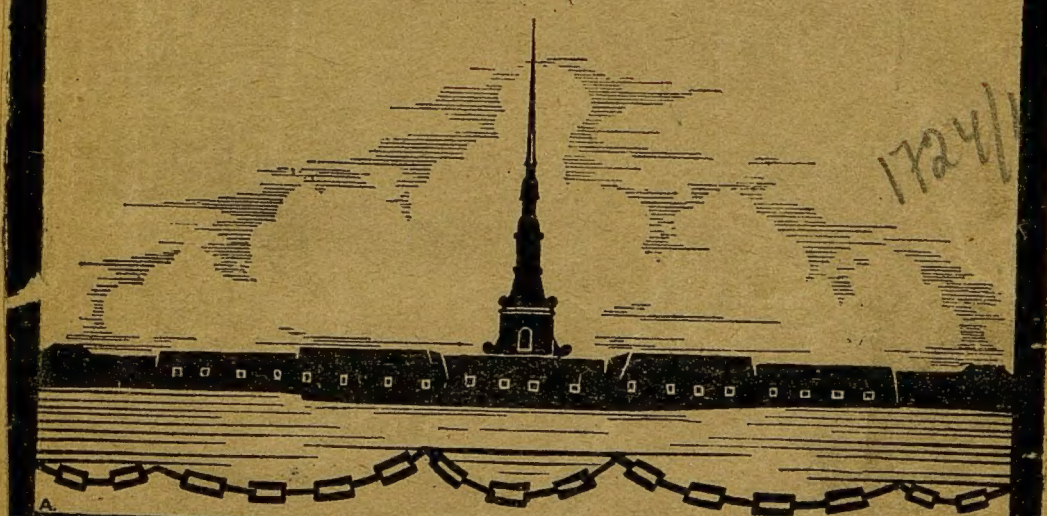
...РАБОЧЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

...ПОМИНАНИЯ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА

М. НИКОЛАЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ НАЧАЛЬНИКА БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ

С предисловием Ем. Ярославского



„НОВАЯ МОСКВА"

~~TY 8/143~~

М. Николаев.

БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
под общей редакцией МК. РЛКСМ.

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА
под редакцией А. И. Елизаровой и Ф. Кона.

М. НИКОЛАЕВ

ДБ
420
Н63

Г 743/143

ВОСПОМИНАНИЯ НАЧАЛЬНИКА БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ

(Декабрь 1905 г. на Пресне)

С предисловием
Ем. ЯРОСЛАВСКОГО

1724/1

„НОВАЯ МОСКВА“
1926

Отпечатано в 5 типо-литографии „Мосполиграф“,
Мыльников пер., д. 14, в
количестве 9.000 экземпл.
Мосгублит № 6788.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1905 год был «генеральной репетицией» революции 1917 г., как декабрьское восстание 1905 года было генеральной репетицией Октября 1917 года.

В течение 1905 года рабочий класс нашей страны прошел исключительно богатый событиями путь классовой борьбы, начав с «коленопреклоненного хода», с верноподданической петиции, с шествия царскому дворцу с хоругвями и крестами под водительством священника, закончив его вооруженным восстанием в одной из столиц и в целом ряде промышленных центров. Пока длится классовая борьба во всем мире, этот величайший опыт рабочего класса будет иметь исключительное значение. Если на этом опыте воспитался рабочий класс, совершивший первую в мире победоносную пролетарскую революцию, то на этом же опыте, соединенном с опытом борьбы 1917 года, необходимо воспитать поколение коммунистов, поколение революционеров, которое способно будет завершить пролетарскую революцию во всем мире.

18 января 1905 года В. И. Ленин писал в статье «Начало революции в России»: «Рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского петербургского пролетариата: «смерть или свобода»—эхом перекатывается теперь по всей России».

Это эхо докатилось и до Москвы. Если в главной столице, тогдашнем Петербурге, 9/22 января 1905 года сорвалась грандиозная попытка раздавить революционное движение, направить его в русло «полицейского социализма», зубатовщины—а именно такой попыткой и была гапоновщина,—то московские рабочие к тому времени достаточно уже раскусили приемы зубатовцев и становились на путь политической борьбы.

9-го января поставило в порядок дня задачу подготовки к вооруженному восстанию, организации этого восстания. За это дело взялись наиболее передовые, наиболее революционные рабочие. В сентябре 1905 года московские рабочие пережили первые открытые серьезные столкновения с агентами царского правительства, с царскими войсками. По поводу этих событий В. И. Ленин писал, что «революционные события в Москве—это первая молния грозы, осветившая новое поле сражения». Да, это была первая молния грозы, которая разразилась сначала в виде всеобщей политической

стачки в октябре и достигла своей высшей точки в декабрьском вооруженном восстании 1905 года.

Вот почему мы считаем особенно ценными такие рассказы об этих днях великой первой революционной грозы, каким являются воспоминания тов. Николаева, начальника одной из лучших боевых дружин 1905 г.—Шмидтовской, куда входили лучшие революционные рабочие, принявшие бой с царскими войсками. В этом рассказе—живое движение масс, бьется живая революционная мысль, кипит революционная страсть борьбы. Автор—не литератор. Он рассказывает просто и бесхитростно то, что он пережил в те дни. То, что он рассказывает о своей жизни после восстания, как бы дополняет то, что было тогда пережито десятками и сотнями рабочих большевиков, рабочих революционеров, получивших в 1905 году боевую закалку, политическое воспитание.

«Геройский пролетариат Москвы показал возможность активной борьбы и втянуть в нее массу таких слоев городского населения, которые до сих пор считались политически равнодушными, если не реакционными». Так формулировал через две недели после восстания В. И. Ленин первые уроки восстания 1905 г. в статье «Рабочая партия и ее задачи при современном положении». *)

Мы думаем, что эти воспоминания помогут в особенности нашей рабочей молодежи воспитать

*) „Молодая Россия", № 1. 4/I 1906 г. См. В. И. Ленин. Собр. соч., т. VII, стр. 53.

себя в духе активной борьбы за коммунизм, что они привлекут ее внимание к «героическому пролетариату» и его делу лучшую часть новых слоев рабочего класса.

Ем. Ярославский.

Москва, 24/XI 1925 г.

М. Николаев.

Воспоминания начальника шмидтовской дружины

Не на радость было появление мое на свет: ведь лишний рот усиливал нужду в семье.

С грехом пополам прожил в семье до 12 лет, к этому возрасту кончил городскую школу в Грузинах и, как кончивший с похвальным листом, поступил в ремесленную школу при Прохоровской фабрике на полный пансион, снявшись таким образом с иждивения уже измученного отца.

Ремесленная школа при фабрике вырабатывала будущих мастеров, администраторов; окончив в три года теоретическую и практическую учебу, в 15-летнем возрасте я был уже мастером-администратором с жалованием 50 к. в день. Даже в том возрасте мне этого было мало; заявил о расчете, имея в виду поступить на какой-либо механический завод, где я надеялся заработать больше. Администрация фабрики в лице даже самого хозяина С. И. Прохорова долгое время не рассчитывала, я стал саботировать, не зная еще, что это слово

значит, а по сути дела проделывал то, что делают при так называемых итальянских забастовках.

В конце концов, все-таки добился своего, получил паспорт, и стал вольный казак... Надежды на лучшие условия жизни оправдались: вскоре поступил на механический вагоностроительный завод в Мытищах, где в то время работал мой отец... и в первые же месяцы заработок стал выражаться, по тем временам, в кругленьких цифрах для моего возраста, а именно 40—50 руб. в месяц. Работа сдельная давала зарабатывать 100 р. и больше. Весь заработок отдавал отцу, оставляя себе лишь 10% на конспиративные от семьи расходы (это по уговору с отцом).

Ремесленная школа, давшая мне шлифовку, заставила как бы выделиться из общей массы. Я не играл в карты, не пил вина, не играл в орлянку, и искал товарищей в среде, значительно превышавшей меня по возрасту и практически-житейскому опыту... Вспоминаю с любовью и признательностью Евгения Ивановича Немчинова, еще до моего с ним знакомства отбывшего административную ссылку... Это первый мой крестный отец в политической жизни. Он и сейчас жив и работает в вагоностроительном заводе (слесарь-машинист). Вспоминаю его подход к обработке нас. Дал он мне под величайшим секретом,—что бы вы думали? Евангелие Л. Н. Толстого в рукописи... И представьте, я, балбес, получивший все-таки почти среднее образование, несколько дней не решался

начать читать. Ведь Л. Н. Толстой был отлучен постановлением святейшего синода от церкви, предан анафеме, проклятию... как тут быть? а ну как угодишь в преисподнюю! От отца и матери скрывал его на груди, даже ложась спать; разрешил себе выпить для смелости, и с внутренней дрожью все же начал читать. Вчитываясь, вдумываясь все глубже и глубже, освоился... уяснив себе ту тонко сотканную паутину, опутывавшую нас с рождения, с пеленок, державшую нас в духовном рабстве...

Тайком, просиживая ночи напролет, я переписал эту рукопись мелким убористым шрифтом, в свою очередь под величайшим секретом начал давать ближайшим товарищам, с предложением тоже переписывать, распространять. Правда, этого мало, но для начала развития кругозора брал я и другой материал, выявлявший хитрую механику государственного устройства.

В полосу зубатовщины организовали с рядом товарищей кооператив, являлись на зубатовские собрания в Грузинский народный дом и на другие (Москва). О значении зубатовщины распространяться не буду; скажу кратко: правительство мечтало уловить нас в сети непротивления по линии политической, а на самом деле, вопреки своему желанию, способствовало созданию ударного кулака для прорыва сетей. Возможно, мечты царского правительства и оправдались бы, если не в полной мере, то, во всяком случае, отдалили бы

момент своего поражения, но начавшаяся в то время работа Р. С.-Д. Р. П. открыла во-время глаза нам и на другую сторону борьбы, — борьбы политической: это было в период между 1896 и 1900 годами.

Период с 1900 по 1903 год включительно мне пришлось работать на юге в гор. Николаеве, Херсонской губ., на машиностроительных заводах Черноморском и Французском. Там я уже стал правильно посещать кружковые собрания. Устраивали собрания за Бугом в „Криницах", устраивали и на этой стороне в лесах. В последних числах мая 1903 г. подготовили забастовку на Французском заводе и провели ее довольно удачно, были удовлетворены все требования, как-то: удаление некоторых мастеров, сокращение рабочего времени, увеличение заработной платы. Сам адмирал Энквист приезжал с охраной для разрешения затянувшейся борьбы. До сих пор представляется он мне, угрожающий сгноением в тюрьмах, брызжущий слюной из-под желто-седых усов и бороды; но как ни грозил, а померла угроза перед стойкостью, сплоченностью вступившего в борьбу пролетариата. Правда, спустя неделю после возобновления работ, меня, Пласкина, Желтенького, Вейса, как делегата, уволили с выдачей за две недели вперед и с последующим предписанием полиции немедленно убраться из Николаева.

Но дело было сделано, арест не удался. Очутился я в Севастополе на постановке машин крей-

сера, в дальнейшем исторического „Очакова". Работал там в среде сормовцев, приехавших из Нижнего, схватил перемежающуюся лихорадку и вынужден был уехать в Москву. По дороге в Екатеринославе был поднят на улице в горячечном бреду одним из екатеринославских мастеровых, по случайному совпадению, братом николаевского тов. Желтенького. У него я встал на ноги, он мне помог деньгами на дорогу.

Наконец, опять в Москве. Поступил я здесь на электрический завод Бельгийского общества, ныне „Динамо", что под Симоновым монастырем. Тут кружковая работа пошла совместно с соседями котельного завода Бари; помню славных, милых по тому времени товарищей. Собирались мы и на вечерних курсах при заводе Бари и в Тюфелевой роще, используя каждый час, каждую минуту, каждого подающего надежды товарища для борьбы за улучшение быта, условий существования. Работал я по сборке дуговых фонарей и приборов, не поладил с мастером и перебрался на Брестскую железную дорогу в мастерские.

Мне лично не пришлось долго поработать: арестовали; это было в феврале 1904 года. Просидев в Арбатской части три с лишним месяца, а затем в северной башне Бутырской тюрьмы, камера № 5, я был в административном порядке выслан этапом в Харьковскую губерню. Несмотря на кратковременное пребывание в одиночке северной башни, я научился тюремной стуковой азбуке и сво-

бодно переговаривался с соседями по заключению. Обвиняли меня в принадлежности к Р. С.-Д. Р. П., но, вполне понятно, впустую, ибо я не имел партийной книжки с отметками о правильности членских взносов. Если я и был виновен, то лишь в ненависти к существующему строю и в том, что признавал единственно верным способом борьбы— классовую организацию пролетариата, по заветам Карла Маркса, передаваемым из уст в уста старшими товарищами (повторяю, что соответствущей литературы не было, а попадавшиеся „Хитрая механика", „Пауки и мухи" и другая не все освещали).

С напором, со скандалом удалось остаться в самом Харькове, ходя лишь еженедельно на отметку в участок. Первое время, не имея связи, поселился в Киевском подворье, это то же, что наш Хитров рынок; писал там за 2 копейки, за пятачок, а иногда и за пятиалтынный письма, прошения, варил русское первосортное масло,— состав его нижеследующий: 1 фунт действительно коровьего масла, 1 фунт подсолнечного, получалась смесь в 2 фунта, стоимостью 56 копеек, т.-е. по 28 коп. за фунт, а продавал по 45 коп. Выбирал только утро похолодней, а то масло таяло, и покупатель подозрительно обходил. С месяц этак прокрутился.

Радужные мечты начали осуществляться, получил работенку по проводке и установке трансмиссий на мельнице Молдавского, что на Журав-

левке; познакомился к этому времени с Михайловским, Иваном Минаевым (оба получили каторгу по декабрьскому вооруженному восстанию в районе Екатеринославской железной дороги), „Медведем“ (фамилию не помню, рабочий паровозостроительного завода). Какая радость! Первая получка и некоторый, так сказать, сравнительно с Киевским подворьем, излишек дензнаков; тут же пару белья купил, и в баню, а на утро в воскресенье уже подыскана комната, и дан за полмесяца задаток. Таким образом с „Хитровки“ выбрался благополучно.

Кончив у Молдавского, подработал у фон-Дитмара на сборке новых универсальных жнеек-сноповязок; затем уж крепко устроился на казенном заводе в машинном отделении („Мономолька“).

Осенью 1904 года дали хорошую демонстрацию с применением стрельбы, каменьев и т. п. против наседавших конных отрядов полиции, жандармерии. Позднее осени устроили банкет, где Сазонов Анатолий*) произнес известную речь с тыканьем в портрет Николая.

После осенних демонстраций были большие аресты; я, уцелев, продолжал работать в „Мономольке“... Вернулся снова в Москву. Как это ни странно, но, по всей вероятности, потому, что прежнего начальника мастерских не было, мне

---

*) Анатолий Владимирович Сазонов, б. народник, потом соц.-рев.

удалось поступить вторично на Брестскую железную дорогу в январе 1905 г. Пока еще мое дело по поступлению было в жандармском отделении, мы, т.-е. Виноградов, Куваев, Гришин, стряпаем сами на гектографе (а я мастер варить таковой) прокламашку и требования к администрации жел. дороги о сокращении рабочего времени, увеличении заработной платы, удалении кое-каких мастеров и т. п.; распространяли их по мастерским, депо, на вокзале. Дело пошло на лад.

Через два дня об'являем забастовку, предварительно проведя ночи напролет с видными, пользующимися влиянием в цехах товарищами; на подмогу к нам подоспел тов. Топорков, Николай Константинович, организатор, в то время член Московского К-та Р.С.-Д.Р.П. (б); дали еще агитаторов, кличек не помню, помню только, что мне пришлось уговорить их не начинать с „долой самодержавие", ибо я уже по опыту знал, что такая штука с самого начала может сделать раскол в среде бастующих. Провел это дело: к счастью, попали сговорчивые, опытные ребята, у которых без употребления крикливой фразы логически получилось, в конце концов, что царское самодержавие, это—та преграда к развитию пролетариата, которая должна быть в дальнейшем разрушена.

Начальство всполошилось, приехала в мастерские и жандармерия, пыталась было меня арестовать там же, когда я стоял на скате и спокой-

ненько вычитывал наши требования к администрации дороги (правда, поджилки тряслись, но это, наверное, от того, что неудобно было стоять). Окружавшие не дали подойти жандармерии ко мне, подняв грозно вверх руки, а в руках-то были—у кого молотки, у кого подшипники, у кого тормозные колодки, краны, гайки и т. п., что, понятно, охладило пыл жандармерии.

Благополучно удалось тут же по цехам выбрать представителей в так называемый общий стачечный комитет, для ведения подробных переговоров. Это было уже 15—20 января 1905 года. Вечером по цехам устраивали митинги, о которых я выше сказал: братва освоилась, сплотилась, и, несмотря на затянувшийся характер переговоров, чрезвычайно больно ударивших по материальному положению бастующих, все же раскола не получилось: заставили администрацию выполнить наши требования полностью и заплатить за прогульное время. Спустя неделю, по циркулярному распоряжению министра Хилкова, меня уволили; хотела было братва бастануть, но я отговорил, ибо не мытьем, так катаньем возьмут...

Пришлось стать профессионалом. Работал в Городском районе в качестве помощника организатора; организовал конспиративные квартиры в Грузинах, на Георгиевской площади, в Волковом переулке. Устраивал собрания в Мытищах на водокачке, в лесах в Лосиноостровской; таскал ребят и на конспиративные квартиры каких-то са-

новных особ, что-то вроде княгини Гагариной, на Пречистенке, в Измайловский зверинец, в лески за Бутырской заставой, к Чугунному мосту по Москве-реке и в другие места.

Хорошее было времечко: движение ширилось, росло; полученная взмойка от японцев способствовала пробуждению широких масс; осмелела братва, и валом валила на массовки. В результате, дотоле несознанный гнет выявился, оформился, и в отдельных конкретных требованиях к эксплоататорам началось чуть ли не повальное забастовочное движение.

В средине лета я поступил на шмидтовскую фабрику в качестве слесаря на кроватные приборы, петли, замки. С ведома хозяина, Николая Павловича Шмидта [(зарезан администрацией в тюрьме по делу декабрьского восстания, член Р. С.-Д. Р. П. (б.)], меня провели по штату, хотя моя работа, пожалуй, мало была нужна для производства.

После кратковременной подготовки повели забастовку деревообделочников. Пред'явив незначительные требования к своему хозяину (у нас, шмидтовцев, условия труда, оплаты были, несомненно, лучше других), оставили фабрику и стройной колонной пошли „снимать". „Сняли" багетную на Горбатом мосту, брезентовую, здесь же недалеко в переулке, оказав им одновременно помощь в составлении требований. Перекинулись на Садовую, по направлению к Зибрехту; колонна шла

быстро, назначение для полиции было неизвестно, и нам удалось добраться до ворот фабрик Зибрехта, хотя в несколько разжиженном виде (по дороге мало выдержанные отстали). В воротах нас встретил пристав и ряд городовиков; не входя в длительные об'яснения (время дорого, полиция может усилиться), стали стрелять. Пристав, два или три городовых упали, остальные побежали, фабрика была оставлена, мы тоже быстренько рассеялись. В тот же день, числа и месяца точно не помню, на конспиративную квартиру пришла делегация от брестцев*) и просила помочь им провести митинг на Горючем поле в Грузинах, а также остановить движение поездов. Провел митинг, получил заверение как от отдельных представителей цехов, так и от всей присутствовавшей братвы, обещание поддержать нас. Занялся подготовкой вооруженного нападения на поезд. Собрал шмидтовцев, часть брестцев: Колокольчикова, Лыгина, Скворцова, Золкина, Николаева Петра, Виноградова и других, двинулся в ночь на ст. Кунцево, приготовив предварительно сигнальный фонарь.

План был таков: остановить сигнальным фонарем товарный поезд, отцепить паровоз, ссадить машиниста (я мог такового заменить), дать передний ход на сотню саженей и затем дать обратный ход, своевременно соскочив с паровоза, что вы-

*) Рабочих Брестской жел. дор.

звало бы, безусловно, сход с рельс паровоза и поломку вагонов, в свою очередь закрывавших движение поездов на некоторое время. Это, при наличии имевшегося желания брестцев провести забастовку, было им на руку и могло подбодрить дотоле нерешительных... Глухая ночь, моросит дождь... Мы в кювете по полотну железной дороги между станцией Кунцево и Немчиновским постом. Знаем, что скоро должен показаться товарный поезд; красный фонарь наготове, зажжен, но закрыт одеждой. Рассуждаем о возможном сопротивлении поездной бригады, жертвах, взвешиваем свои силы. Решили отбросить, в случае надобности, всякие сантименты...

По полотну слышим: идет, ближе... ближе... совсем недалеко... Чорт возьми, что же его не видно? Наконец, вынырнули из глухой тьмы два светлых глаза фонарей, обрисовался силуэт паровоза, но так близко, что пущенный в ход наш красный сигнальный фонарь не мог сослужить той службы, которую мы ждали от него. Отсутствие тормозов Вестингауза в товарных поездах не позволило машинисту произвести быструю остановку, и поезд продолжал двигаться почти с такой же нормальной скоростью, поровнявшись с нами.

Что делать? Открываем стрельбу по паровозу и вдоль поезда; раздались тревожные гудки, машинист сообразил, в чем дело, прибавил ход. Этой ночью в районе Кунцева можно было слушать

славный концерт: трескотню маузеров, браунингов, бульдожек, тревожно испуганные и злобно вызывающие людские крики, стон всех гудков, свистков, какие только могли быть извлечены из медных пастей сигнальных приборов... Вот и хвост поезда, посылаем вдогонку проклятие и несколько пуль; держим совет, куда путь держать. Через Кунцево и Чугунный мост теперь не пробересься, решили дернуть по полям. И вот, без компаса, без звезд пошли, как говорится, „на фарт“...

Где-то лаяли собаки, стучали колотушки обходных деревенских сторожей; мы вязли в глине, падали в канаву, темь—зги не видать; наконец, добрались до твердого грунта, и вскоре вышли на дорогу. Забрезжил предутренник, огляделись, положение определилось: идем на Дорогомиловскую заставу. С рассветом были в Дорогомилове, где разошлись в разных направлениях.

С'емка с фабрик, нападение на поезд, в известной степени вкупе с другими событиями, способствовали развитию второй забастовочной волны —второго предоктябрьского периода.

Через два-три дня получили явку для поездки в Петроград... Отдельные перемежавшиеся забастовки фабрик, заводов, железных дорог, как отдельные ручейки, под руководством и направлением, главным образом, Р. С.-Д. Р. П. (б.), слились, наконец, в один мощный поток—всероссийскую забастовку. Тогда вся промышленная жизнь

страны замерла: ни стука молотков, ни дыминки из маячивших в небе фабрично-заводских труб, ни своеобразного грохота поездов,—за исключением специального назначения по переотправке демобилизованной армии с далеких манджурских полей; не было ни свежеиспеченного хлеба, ни булок, за полным прекращением работ хлебопекарен, и—полнейшая остановка не только магазинной, но и рыночной торговли; пролетариат бросил решительный вызов изолгавшемуся правительству.

В результате—манифест 17 октября 1905 года.

Октябрьские дни я провел в Петрограде, работал по Нарвскому району. Ночевками пользовался и у Алексинского, за Невской заставой, и у одного из путиловцев, за Нарвской заставой (концы подходящие!); работал по усилению профорганизаций (начиналась такая полоса). Помню начавшиеся шаги правительства в сторону ликвидации свобод 17 октября, помню треповское—„патронов не жалеть", митинги, демонстрации, протесты, кронштадское выступление матросов, но все это так переплелось, что особо выдающихся моментов выделить не могу; помню демонстрацию по Гороховой, где я был изрядно помят при столкновении с полицией; помню 5—7-тысячный митинг в Технологическом институте, где наряду с тов. Троцким и другими выступал я; помню собрание в Соляном Городке, митинги на площадях университета, дискуссию в Экономическом обществе,

где тов. Ленин клал на лопатки эс-эров и эсерствующих, межрайонное собрание на Выборгской стороне, с участием тов. Ленина.

Вспоминаю его по тому времени, безбородого, с небольшими светлыми усиками и таким же оголенным черепом, как и в последнее время. Уж тогда проглядывала цельность натуры, выдержанность, властность вождя—и одновременно, как бы необ'яснимое обожание, влечение к нему, вера в его опыт, знание.

В половине ноября получил письмо из Москвы от шмидтовцев с предложением вернуться на фабрику. Петроградская работа не удовлетворяла меня, и к концу ноября я снова в Москве на мебельной фабрике Шмидта. Здесь, в Москве настроение рабочих тверже, идет усиленная подготовка к решительному отпору—наступлению.

В ночь под Николу, с 5-го на 6-е декабря, в Фидлеровском училище созывается межрайонное собрание, где после непродолжительного, но глубоко вдумчивого обмена мнений решено начать забастовку, с возможным переходом ее в вооруженное восстание. Останавливаясь на этом историческом периоде, скажу, что строго, определенно, детально выработанного организационного плана у нас, даже передовых рабочих, не было, не было дано и из руководящего центра.

На каждой фабрике, правда, были задолго организованы боевые дружины, но они были самостоятельными единицами, и даже в таком важ-

ном районе, как Пресня, отдельно существовали: мамонтовская, прохоровская, шмидтовская дружины; лишь к концу восстания и началу встрепки у нас, шмидтовцев, завязалась организационная связь с прохоровцами, во главе сил которых стояли—тт. Седой (Литвин) и „Леший"; работал там и известный меньшевик под кличкой „Медведь". Тов. Седой в дальнейшем об'единил нас всех, став во главе боевых сил всего Пресненского района, но было поздно.

Когда дело подошло к развязке, мы определенных заданий не имели, и были предоставлены как бы собственной инициативе. Возможно, что в центре все было разработано, но связь с центром, может-быть, и по конспиративным соображениям, была слишком жидка.

Вспоминаю девушку-интеллигентку. Она с нами, шмидтовцами, построила не одну баррикаду, провела не одну бессонную ночь в общих постовых дежурствах. 7 декабря, с утра, фабрика в целом стояла, но была битком набита народом, не только шмидтовцами, а и посторонними; кузница работала.

После обеда решили всеми силами и способами дезорганизовать правительственную власть; усилили имеющуюся боевую дружину охотниками-добровольцами беспартийными, вооруженными холодным оружием, пояснив, что огнестрельное оружие можно взять с боем в дальнейшем; тут же на фабрике начали учебу: стрельба в цель,

метание гирь на расстояние, бросание напильников в цель так, чтобы острие впивалось в доску, удлиняя шаг за шагом и расстояние.

Так-то это так, ну, забастовали... а дальше что? к хозяину никаких требований нет, поднимай выше,—об'явили войну самому царскому правительству... С чего же, однако, и как начинать?... Посудили, порядили и остановились на предложении „снимать с постов городовиков“..

Постановлено—сделано... Вечером 7-го декабря проделали опыт: сняли с Горбатого моста и других ближайших переулков. На перепутьи к последнему из них прикатила городовикам помощь со стороны Зоологического сада, началась жаркая схватка,—посты и помощь потерпели и здесь полное поражение, никто из них не ушел, если не все были положены насмерть, то все же ни одного бежавшего или стоявшего на ногах не осталось... Вооружение наше увеличилось. Помню, обойма моего маузера была настолько помята, что пружина не могла принять вкладываемых патронов. Повреждение это получилось в конце боя, когда вступили в рукопашную...

Первая победа нас воодушевила. Что ж, драться, так драться по-настоящему, не резолюциями... Организовали штаб ночевки тут же при фабрике, сами жарили, варили, ели из одного котла.

8-го декабря везде и всюду проходили митинги, но ни о каких баррикадах помину еще не было; 8-го наш дружинник Лыгин, бывший зачем-то в

городе, „всыпался“ вечером; он вздумал на Новинском бульваре в одиночку снять пост; пост-то он снял, но на беду подоспела помощь соседних постов—и парня сгребли, скрутили по рукам и ногам. Это мы узнали потом. Стройной организации и соответствующей дисциплины введено еще не было.

9-го декабря проходил большой митинг в Аквариуме; после его разгона, после арестов началась баррикадная работа.

Был дан лозунг,—казаков не пропускать с Ходынки, а жандармерию бить в городе, стягивая кольцо к губернаторскому дому.

На солдат мы почему-то надеялись, думая, что они или присоединятся к нам, или, в худшем случае, останутся нейтральными.

„Ваяй, ваяй“, раздаются картавые, возбужденно радостные голосишки маленьких ребят. Вечером 10-го декабря на Кудринской-Садовой улице подрезанный на аршин от земли телеграфный столб все-таки не упал совсем, вися на сети проволок, и один из хлопцев с напильником в зубах лезет к фарфоровым чашечкам, чтобы перепилить провода. Столб вот-вот рухнет, а детвора танцует под ним, похлопывая рука об руку от мороза.

Темнота... электрическое освещение не работает, а газовые фонари побиты; почтовые ящики посорваны, снимаются ворота, тащится рухлядь, ящики, бревна, вывески засыпаются снегом, под-

носят воду, поливают, соображая, что, когда обледенеет, крепче будет,—так строилась баррикада между Кудринской площадью и Триумфальной. У нас, шмидтовцев, была группа с пилами и топорами,—дело спорилось. В постройке баррикад принимало участие и широкое население, частью косвенно, частью непосредственно, с той лишь разницей от дружинников, что следует показаться тому или иному отряду казаков, жандармерии, и на баррикадах остаются только дружинники, остальные же—в подворотни. Совершенно незаметно, сами по себе, забастовки стали переходить в настоящее вооруженное восстание; подробных записей не вел, чрезвычайно трудно указать теперь точные даты тех или иных эпизодов.

Помню, дружиной не более чем в 15 человек, мы, шмидтовцы, пошли брать участок на Малой Грузинской улице, и пока докатились до него—превратились в добрую сотню; без особых эксцессов и труда обезоружили находящуюся там власть. Падала на колени эта разных степеней и рангов, растерявшаяся власть, думая, что мы тут же и покончим с ними расчеты — расстреляем их. Но наше до глупости великодушничанье оставило их в живых, повредив нам же при судебных процессах в дальнейшем.

В этот же день, при возвращении к фабрике, нам перерезал путь отряд казаков; мы шли по Волкову переулку, а они расположились у входа его на Большую Пресню. Случилось это

неожиданно для обеих сторон. Дали нам сигнал „расходись!“, хоть и шли-то мы тройками, гуськом, со значительными промежутками, по обеим сторонам улицы, и было-то нас не более 15 человек, и оружия, как-то: винтовок, ружей на виду не было, все же показались подозрительными—и казачий отряд выстроился. Мы быстрой перебежкой исполнили „расходись“, но по-своему, т.-е. залегли под тумбы и другие прикрытия. Горнист сыграл в наступление, казаки открыли огонь, мы ответили... Видим замешательство, двое-трое сваливаются с коней, другие спешиваются, подхватывают—и давай ходу. „А, сволочь, вы на безоружных только храбры!“, раздаются торжествующие возгласы с нашей стороны. Пускаем вдогонку еще несколько пуль, отряд скрывается в сторону Зоологического сада, захватив с собой раненых и убитых.

Их поразила наша меткость и дальнобойность. Они, в худшем случае, допускали, что у нас—бульдожки или смит-вессоны, а напоролись на маузеры и браунинги...

Идет постройка баррикад на Георгиевской площади и других местах, с'емка городовиков, стрелявших с пожарной каланчи Пресненской части (эту с'емку мы организовали, установив дежурство на чердаке одного из зданий шмидтовской фабрики, где использовали слуховое окно, откуда, как на ладонке, видна была вся каланча).

Идет с'емка караула и смена караула у острога по Проточному переулку, где было с

бою взято нами несколько винтовок, и где был ранен, оставшись в дальнейшем без руки, Михаил Алексеевич Румянцев (шмидтовец). Идет постройка баррикад на Арбате и стычка там же с отрядом пехоты, где был убит Ваня Карасев (шмидтовец), а я ранен разрывной пулей в ногу; изо дня в день бессменное дежурство и целый ряд других эпизодов сливаются в одну картину напряженнейшей борьбы без особых выделений лиц, фактов.

Восстановилась связь с прохоровской дружиной. К этому времени и наша шмидтовская дружина увеличилась: присоединились фармацевты, брестцы, но одновременно стали поступать и тревожные вести: „такой-то район приступил к работам", „такой-то район прекратил боевые действия", и по подсчету выяснилось, что на боевом положении только мы (Пресненский район), хоть и об'единенные. Наконец, создалось общее руководство в лице тов. Седого (Литвина), но все же были только прохоровцы, шмидтовцы, брестцы, грачевцы, мамонтовцы, т.-е. одни пресненцы. Стали поступать сведения, что из Петрограда двинулись на Москву Преображенский и Семеновский полки.

Каждый свободный час упражнялись мы в метании на дальность расстояния пяти-десятифунтовых гирь (у нас были бомбы,—надо было научиться владеть ими). А в душе у нас звучали все время слова Максима Горького: „Безумству храбрых поем мы славу...".

С бомбами, которые дальше 50—60 шагов не бросишь, с бульдожками, смитами, отчасти винтовками, с маузерами и частью одного только района выстоять против дисциплинированной армии, дальнобойных орудий... воистину, славное времячко было: были силы, была смелость. За два-три дня до окончательного разгрома узнали, что есть постановление центра: „Приступить с понедельника к работам", ибо по всем другим районам восстание ликвидировано; это было в пятницу, числа точно не помню, а что именно в пятницу—помню потому, что некоторые из дружинников, шутя, говорили: „Завтра суббота, помоемся в бане, а потом нас попарят семеновцы или преображенцы, а может быть, оба полка сразу". Помыться, понятно, никому не пришлось, а от порки уйти удалось немногим.

Глухой ночью посыпался пулеметный огонь со стороны Новинского бульвара... Я был разбужен прибежавшим постовым дежурным (дружина не была еще распущена), обстреливалась наша фабрика. Наскоро посоветовавшись, решили ждать подхода войск ближе; темь—зги не видно. На Горбатом мосту и дальше—никого нет, обстреливают, вероятно, с Новинского бульвара или Девятинского переулка. Прождали с час: начался шрапнельный огонь... Чуть забрезжил рассвет, стали видны взрывы в штабелях заготовленного сухого строительного материала; местами показались огненные языки. А врагов своих все-таки не видим

стрелять без цели бесполезно. Снова посоветовались и решили перейти к прохоровцам; по дороге встречаемся с отрядом и отдельными товарищами прохоровцами, спрашиваем: „как дела? что решено?“—Велено сниматься и уходить.

Сразу внутри что-то как бы оторвалось, сразу все стало совершенно безразлично... Шрапнельный огонь крыл уже по средней Пресне. Снаряды рвутся над головами, валятся срезанные сучья деревьев, идешь—и только машинально наклоняешься, нет никакого желания беречься. Добрались до 2-й своей штаб-квартиры Михаил Залкин, Иван Колокольчиков, „Микадо“, Алексей Васильевич, я и другие товарищи, фамилий не помню.

Я и Колокольчиков решили уходить из Москвы совсем, ибо как его, так и меня полиция знала, как облупленных. Простившись со всеми, как прощаются навсегда, пошли к Прохоровской фабрике, наметив маршрут через Москва-реку, Дорогомиловскую заставу.

Уже рассветало... По Москва-реке шли несколькими группами; фабрика Шмидта была вся в огне... река обстреливалась, и некоторые падали, судорожно зарываясь в снег... Опять-таки все было безразлично.

В Дорогомиловской слободке в одной из парикмахерских привели себя в порядок; у меня была сильно выделяющаяся шевелюра. Жестикулируя и рассуждая на улице, как ни в чем не бывало, пришли к заключению, что все-таки без

паспортов, без гроша в кармане уходить из Москвы, да в такое время, совсем уже не разумно. Как быть? Где достать паспорт и немного денег?..

И вспомнили мы здесь давно не бывшего на фабрике владельца ее, Николая Павловича Шмидта. Позволю себе остановиться на уважаемых всеми рабочими лицах—Н. П. Шмидте и его сестре Екатерине Павловне Шмидт. Молодой студент, только что вступивший во владение фабрикой после смерти отца, был очень отзывчив на все нужды рабочих. Сам натолкнул на мысль и дал средства на открытие при фабрике специальных „общеобразовательных курсов". Предлагал нам войти в пай, т.-е. как бы стать акционерами (акции—свой труд), учитывать стоимость производства, контролировать таковое, участвовать в прибылях. По всей вероятности, это было бы проведено в жизнь, как опыт (мы ничем не рисковали), но события помешали.

Если шмидтовцы и бастовали, то без пред'явления требований к владельцу фабрики, лишь из солидарности с теми или иными предприятиями, преследуя цели, главным образом, политические. Вот почему вся злоба разного рода жандармерии особенно обрушились на шмидтовцев в целом и на владельцев фабрики—в частности. Сестра владельца, Е. П. Шмидт, также была близка к рабочим по культпросвет. работе. Так вот, к ним-то я и Колокольчиков решили обратиться за помощью. Нужно же было дойти до такого состоя-

ния безразличия к риску, чтобы итти на Новинский бульвар, откуда все еще продолжался обстрел Пресни.

Н. П. Шмидта мы не застали, он был накануне арестован и куда-то отправлен; встретила сестра, чрезвычайно удивившаяся нашему безумному поступку; у ней укрылся только что тяжело раненый наш же шмидтовец Илья Федорович Поляков. Выслушав нас, она принесла пару паспортов, дала по 25 руб. денег и благословила в путь. Мы пошли, а на нашем пути отрядами солдат (семеновцев) и пожарных разбирались, сжигались, ломались возведенные революционным пролетариатом и долго стоявшие баррикады.

Пройдя через Серпуховскую заставу, пошли пешком в Подольский уезд, Сухановскую волость, к родным тов. Колокольчикова, где устроили передышку на несколько дней. Затем дернули в Петроград. Пока была удача: несмотря на чрезвычайный сыск, охрану, проверку документов на станциях жел. дор., все же арестованы не были. В Петрограде, получив явку на Одессу к тов. Цейтлину, я расстался с тов. Колокольчиковым, но в Одессу не попал, а волею судеб прибыл в Вологду (охотники гнались и гончих стая, почему пришлось маршрут изменить). В Вологде поселяюсь у петроградца столяра тов. А. И. Медведева; там жизнь еще била ключом.

Выступал на литературных музыкально-вокальных вечерах с декламацией „9-е января“ и дру-

гими соответствующими вещами в Народном доме. Припоминаю из товарищей семью Девятковых, работавших в то время в Вологде. Устроиться работать по специальности не пришлось; брал переписки из Губ. Зем. Управы, вел статистику жилых и нежилых строек, крестьянского живого и мертвого инвентаря, и кое-как перебивался. Весной черносотенцы подожгли Народный дом. Мы устроили по этому поводу демонстрацию включительно до перестрелки с полицией; сгорела также мастерская тов. Медведева, и я принужден был вскоре выехать на Волгу.

Забравшись на пароход без билета, „всыпаюсь", но меня, как специалиста, не ссаживают, а заставляют отработать в машинном отделении, против чего не возражаю. Добрался до Нижнего, там пересаживаюсь на пароход, тоже без билета, на корме; разыскивая место, где укрыться, натыкаюсь на одну большую бочку, непрочно стоявшую, подталкиваю с края, вижу, приподнимается, и как бы пустая. Заглядываю вниз—ноги. Соображаю... Решил, что на двоих хватит, просовываю голову и слышу матерную брань... „Ничего, ничего, не волнуйся, потеснись только",—так знакомлюсь с одним из бежавших матросов броненосца „Потемкина" (броненосец „Потемкин" ушел со всей восставшей командой в Румынию под осень 1905 года).

Вылезая время от времени и прячась от контроля, мы благополучно добрались до Астрахани Здесь также без билетов катером перебираемся на

12 футов, это стоянка, к которой подходят морские пароходы. Удачно втискиваемся на морской пароход, и мы через 2—3 дня в Баку; нужно было держаться на Одессу. Жрать нечего... ни у него, ни у меня ни гроша; необходимо во что бы то ни стало достать деньжат. Подрядился я у хозяйчика механической мастерской на Биржевой площади и отгрохал неделю без прогула. Ночевал все время в притонах той или иной харчевни. Взял маленький аванс у хозяина (по расценке знаю, что заработал ему в 3—4 раза больше, чем он мне заплатил); деньжата собрались, и мы тронулись дальше.

От Баку до Поти, от Каспийского, значит, моря до берега Черного, мы проехали по Закавказской жел. дор., не заплатив ни одной копейки.

Обыкновенно заходили несколько вперед отправляющегося поезда, на ходу вскакивали, если это был товарный; коли на пассажирский, то разыскивали вагон с лесенкой и забирались на крышу; главным образом ехали ночью. Раз было очень жутко: под утро видим вдалеке арку моста на пути. Как ни успокаивали себя, что ведь и раньше вагоны проходили под ней, все казалось— вот-вот срежет.

Прижались к крыше, слившись как бы в одно целое.

Просветлело, прошумело что-то; очнулись, опасность миновала. Переживали хорошие минуты; представьте: справа на расстоянии какой-либо

сажени от мчащегося с нами поезда высятся отвесные скалы, взглянешь—шапка валится, слева также близко провал, пропасть, а там вдали серебрится река Кура. Впереди виднеется крутой загиб пути за скалы, путь совсем скрылся; вот-вот поезд соскочит и полетит к чорту на кулички,—красиво, чорт возьми, жутко и приятно.

В промежуток между остановками на какой-то реке, кажется, Арагве, стирали белье, купались, а за время купанья белье, расстеленное на камнях, высохло, и мы, освеженные, умытые, снова тронулись в путь. Пролетели знаменитые Михайловский, Сурамский туннели, наконец, Поти (приморский порт на берегу Черного моря).

Надежды, что удастся сесть на пароход и податься прямо в Одессу, не оправдались. Пролетариат юга был еще силен, активен. Проходила как раз забастовка черноморской флотилии, ни один из пароходов, стоявших в Поти, не дымился.

Попытались было на иностранное судно устроиться—маячили, маячили, номер не прошел. Задерживаться в Поти при такой обстановке сочли неосторожным, тронулись в Сухум-Кале пешком по берегу Черного моря. Пришли в Сухум, движение все еще не начиналось; прем дальше по направлению к монастырю Новый Афон.

Днем, раздевшись донага, белье на голову или за плечи, величественно шествуем под палящими лучами южного солнца по колена, а то и выше, в взморье. Дико, пустынно кругом; иногда спугнешь

орла или орленка, примостившегося где-либо невдалеке; нарвешь жимолости (род малины), лычи (род сливы), подкормишься. Вечером, выбрав поудобнее местечко, разгребешь в раскаленном песке ямки, заляжешь в ночевку и засыпаешь под шум перебираемых морской волной камешков, ракушек.

Перебирались вплавь через попадавшиеся реки, как, например, Кадор и другие; прошли тоже береговой монастырь Дранды, дошли до Нового Афона, а пароходов все еще не видно. Как быть? Нанялись работать в монастыре. Чудная природа, хорошая пища, сносные условия работы, живи да хвали всевышнего и благость его; под окнами монастыря—апельсины, лимоны, немного подальше—инжир (винные ягоды), лыча, кизиль; тут же под боком баклажаны, арбузы, виноград. В обед подают красную рыбу, манную кашу с сахаром, в праздники полагается стакан крепкого виноградного вина из глубоких монастырских погребов.

Снова путь. На пароходе „Витте" держу курс на Одессу; товарищ соблазнился, остался в монастыре; я также без билета, но, войдя в стачку с с пароходной братвой, ночевал вместе с ними в кубрике; узнал, как можно быть сыту, пьяну и нос в табаке, получая при этом ничтожное жалованье: „нечаянно" в трюме при разгрузке уронить груз, и посыпятся апельсины, лимоны, брынза (кавказский сыр) и т. п.

Пароходная братва дружная: работает и живет на близких к коммунизму началах.

Вот и Одесса; разыскиваю по петроградской явке тов. Цейтлина, оказывается, „выбыли". Еду в город Николаев, где раньше работал, как указано выше; разыскал рыбака Войтковского, его сыновей; Женя Войтковский уже сидел (в дальнейшем он получил каторгу и был убит кем-то в Сибири), другие сыновья: Николай, Павел-хромой работали на Французском заводе.

Оставляли в Николаеве, но остаться постеснялся, там меня знала полиция.

Получив явку в Одессе, установил связь, и только начал входить в работу, как был арестован. К этому времени, вследствие поражения пролетариата, особенно развилась работа анархистов различных оттенков, индивидуалистического характера, которые устраивали эксы за эксами. Мой облик, повидимому, подходил к эксовику, ибо, не вступив еще на работу, без видимой как бы причины, на углу Михайловской и Степной улиц был остановлен на „прицел" с командой „руки вверх".

При обыске в участке пристав обратил внимание на карту Европейской России, где у меня на полях нарисован целый ряд геометрических фигур (явка была дана в трехугольный переулок). Пристав, аллах его ведает, почему-то решил, что это ряд намеченных, а может быть, и уже проведенных эксов... Предварительно продержали в части, сфотографировали и вследствие моей попытки к побегу перевели в тюрьму (Кресты); это случилось в августе месяце 1906 года; я

сел по „липе“ *) на имя Савелия Никифоровича Ефремова, новозыбковского мещанина Черниговской губ., исколесил Россию по ней благополучно, но тут „всыпался“.

Итак, стремясь снова к революционной работе, стремясь отомстить за понесенное поражение в декабре 1905 года, стремясь к родной партии в целях кропотливого восстановления расстроенных рядов для продолжения и развития борьбы с ненавистным игом самодержавия, с игом капиталистического строя, сел в тюрьму, не успев ничего путного сделать. Для меня одесская тюрьма 1906 г. показалось хорошей гостиницей сравнительно с Бутырской тюрьмой 1905 года.

Камеры не запирались, на кругу танцулька, свободный вход во двор на прогулку, свободный приход посторонних, хозяйственная артель, великолепная пища, солидная библиотека, свободные собрания по камерам, дискуссии. Припоминаю товарища, кличка „Каменщик“ эсдек, комитетчик, в камере у которого дневали и ночевали в дискуссиях; вспоминаю старосту, анархиста Гершковича, встречался с ним потом в ссылке по Лене. Накануне перед моим прибытием в тюрьме, по приговору военного суда, в стенах тюрьмы расстреляли известного по тому времени анархиста тов. Тарло. Вскоре в ее же стены водворили группу портных по какому-то делу.

---

*) „Липами“ назывались подложные паспорта.

Явился с солидной охраной тов. Краморов—смертник, взятый не помню по какому делу; он был так отшлифован придержащей властью, что из всего его полуторасаженного роста виднелись только глаза: голова представляла сплошной бинт; припоминаю кисло-сладкую фигуру надзирателя Золоторенко, пригвоздившего форточки и двери; вспоминаю длительную голодовку, битье посуды и окон по этому поводу.

К концу 1906 года личность мою раз'яснили.

Итак, значит, вы продолжаете именоваться Савелием Никифоровичем Ефремовым?—угощая сигарой, спрашивал жандармский ротмистр.

— Кстати, не знали ли вы А. С., Н. О., С. Н., К. С. Николаевых, а возможно, и Михаила Степановича Николаева?—сыпал ротмистр, захлебываясь от радости.

— Быть может, пожелаете личную ставочку сделать? можно затребовать. А?

— Не признаете ли вот эту карточку, снятую с вас в Бутырской тюрьме в 1904 году?

Крыть мне было нечем. Да, система сыска была у них поставлена хорошо.

Ведь никаких документов, материалов, свидетельствовавших о моей причастности к революционной деятельности, при мне не найдено, сам я себя выдать не мог, и заранее решил судиться, в крайнем случае, как бродяга, что могло дать, самое большое, год-полтора арестантских рот; делать нечего, номер не прошел. С ближайшей пар-

тией отправили в Москву, в распоряжение судебного следователя по важнейшим делам, который, к слову сказать, давно разыскивал меня путем публикации в столичных „Ведомостях“ и другими способами.

Первое время поместили в Басманной части; сидело по 3—4 человека в одиночке; несмотря на темноту, а может быть, в силу ее, мы пользовались относительной свободой; подбор надзирателей был удовлетворителен, обычно до прихода смотрителя камеры не запирались. Прогулка была общая, ежедневная, по часу и более, пока самим не надоест; допускались игры, увлекались особенно „чехардой“ и „малороссийским козлом“. Повывихали руки, ноги, шеи. Смотритель хоть и вредный был старикашка, но боялся нас и избегал столкновений; вспоминаю одновременно сидевших: Наташу Кистеневу, „Богомаза“, „Карика-туриста“ (фамилии не помню), Виноградова.

Как ни хорошо в тюрьме, а хотелось на волю. Достали через надзирателя взломочный инструмент, эссенции; сначала с „Богомазом“ пытались пробить наружную стену, ничего не вышло; тогда перебрался в камеру Виноградова, там нам удалось проломить печку с выходом на чердак и, наверно, ушли бы, да неожиданно вызвали в баню, и как ни был искусно замаскирован пролом, все же смотритель обнаружил—нюх имел, проклятый.

На другой же день меня и Виноградова в срочном порядке перевели: меня — в Бутырскую, его — в Таганскую тюрьму; это было в начале июня 1907 года.

Бутырки! Как славно звучит это имя! В памяти план Бутырской тюрьмы рисуется так:

1) Северная башня, где я сидел в 1904 году.

2) Камера № 86, где я сидел с июня 1907 года по октябрь 1908 года включительно.

3) Мужской корпус одиночек.

4) Каторжное отделение.

5) Пересыльное отделение.

6) Женские одиночки.

7) Дворы для прогулок.

8) Церковь.

Отвели мне камеру № 86 в углу... Справа от меня сидел Анатолий Королев, бывший ученик Комиссаровского училища, налево через пару камер „Папаша" Соколов, внизу под ним—Данилов, сзади—длинный Романов, максималист, внизу подо мной—поэт, фамилию не помню, и много-много других славных ребят. Вспоминаю тов. Фельдмана, нашей военной организации.

Режим крепчал... К окошку не подойди, подстрелять, громко не говори, даже сам с собой, стучать, переговариваться с соседями не смей.

Любил я голосить; бывало, завоешь: „Ах ты, мой сад" или „За Уральским хребтом", или „Летят в синеве облака". Тук-тук, как раз меня: „пожалуйте в карцер". Сперва сходило, а потом всерьез

начали таскать. Не знаю, кому какие карцерные уголки попадались в нашем тюремном обиходе. По удаче я попадал несколько раз в один и тот же; ведут через внутренний двор каторжного отделения, идешь по каким-то коридорам, спускаешься куда-то вниз... Скрипит замок, открывается мокрая дверь, и тут же от пинка летишь куда-то, иногда устоишь на ногах, иногда нет. С визгом захлопывается дверь, абсолютно ни зги; пробуешь подносить палец к глазам, тычком, авось, дескать, увижу—ничуть не бывало, хоть выколи.. чувствуешь только, что руки мокрые в грязи. Начинаешь пятиться назад.... доходишь до стены, откуда пришел, избираешь путь вправо или влево; идя ощупью по стене, на что-то натыкаешься... делаешь предположение, что это „параша", переступаешь дальше, ноги опять уперлись, но пониже прощупываешь как будто деревянный настил на четверть от пола. С радостью вспоминаешь о спичках.

Несмотря на предкарцерный тщательный обыск, удается проносить почти одни головки спичек, лишь бы ногтями можно придерживать, и маленькие обрывки кожуры от спичечной коробки (целую коробку не спрячешь). Листки папиросной бумаги, табак—обычно рассованный, хранятся на всякий случай по разным заплаткам, уголкам бездонных карманов, обшлагам и т. п.

Чиркнул... Бог мой, как хорошо: после абсолютной темноты сразу целый костер света, под носом... Сигарка то раздувается, то притухает.

Входишь в раж... начинаешь стучать, нет ли кого по соседству? Молчание, ну, ладно, удовлетворяешься и одиночеством. Затем открывается форточка, брезжит свет: это принесли шайку воды и кусочек хлеба. Сколько раз ни сидел, как ни изловчался, никогда не удавалось сберечь хлеба от крыс. Не зная, выдадут ли завтра хлеб, отказываешь себе сегодня, оставляя часть про запас, но только забудешься, а тем более заснешь—кончено, ни крошечки не оставят.

Бывало, лежишь спокойненько—царап, царап, чувствуешь, одна, другая забираются на ноги, грудь, жутко станет до ужаса,—а что как их здесь тысячи?.. Не выдержишь, вскочишь и начинаешь бесноваться. Сколько раз в погоне за ними проливал шайку, оставался без капли воды—и все же был рад, когда снова появлялись они: все же живое что-то. На четвертые сутки дают прогулку; на ходу в коридоре еще чувствуешь себя ничего; выйдя же на улицу, сразу зашатаешься: это снопы света, ударив в глаза, валят с ног. Несмотря на то, что в этот день дадут горячей пищи, все же 2-я половина недели кажется еще тяжелей; хорошо, коли на счастье сосед по карцеру появится, ну, тогда хоть и через стену вдвоем накричишься, наругаешься, узнаешь новости, и сиплым голосом, но запоешь. Кончив недельное наказание, выходишь из карцера с сознанием собственного достоинства, намотав, однако, кое-что на ус...

Пройдет месяц, другой, забудешься, — опять за то или иное нарушение правил внутреннего распорядка тащут голубчика на исправление; в конце концов, как беспокойного, перевели в коридор „смертников“ (нижний этаж, камера № 19), — в противоположной стороне от прежнего места жительства и несколькими этажами ниже. С переводом вниз я выгадал: здесь можно было ловить голубей... Правда, я ловил их и на той стороне сверху, но здесь внизу все же было больше шансов на удачу: спустишь ниточку с заготовленной из волоса петлей, и караулишь; редкий день охота не удавалась, не поспевали мешать и часовые.

Мясо голубя, даже не проваренное, а лишь выдержанное в кипятке, есть можно, и оно служило дополнительным блюдом к тюремной баланде.

В тюрьме мне пришлось много передумать, пережить. На воле некогда было самоуглубляться в повседневной работе за кусок хлеба и в революционной деятельности. Взглянуть пошире и поглубже на человеческие взаимоотношения—тоже не пришлось, и если революционная деятельность проходила под знаменем Р.С.-Д.Р.П. (большевиков), то это по глубокому и вполне определившемуся сознанию, что только это знамя указывает верный путь к освобождению от гнета и эксплоатации человека человеком. Были и другие ведь знамена, как-то: знамя партии социалистов-революционеров, анархистов и других, которые также считали себя социалистами и свой путь борьбы вернейшим...

Думаю, что принадлежность к той или иной партии в нашей рабочей среде впервые определялась первой связью с представителем той или иной партии; в дальнейшем связь крепла, но все же она была непрочная без проработки.

Этим, пожалуй, можно об'яснить те имевшие место колебания, переходы из одной партии в другую, неустойчивость, которая в особенности проявилась после поражения в 1905 году. Мне лично, совершенно случайно, сразу впервые же удалось связаться с Р.С.-Д.Р.П.; механически проработав длительное время, при критической проверке самого себя уже в тюрьме, все же пришел к заключению, что никакая иная из существующих партий, помимо Р.С.-Д.Р.П. (большевиков), не удовлетворяла моих запросов и по общественному положению, и темпераменту, и образованию, — словом я ни к какой иной партии принадлежать не мог, не насилуя себя.

Прочитал Кропоткина, Ницше, Лабриола, Михайловского, Бельтова-Плеханова („К вопросу о развитии монистического взгляда на историю"), Геккеля „Мировые загадки", Богданова и многое другое; все-таки еще месяца два-три помучился над окончательным самоопределением. Хорошо, что этот критический период самоуглубления застал меня в тюрьме, иначе при былой активности натуры мог бы повредить родному делу...

Тюремный режим крепчал, он, как барометр, отражал жизнь вне тюрьмы; пока не было задав-

лено мощное пролетарское движение, не были еще разрознены его силы — и условия тюремной жизни были сносны; с затишьем же рабочего движения давление на заключенных усиливалось: 1906 год еще жили, 1907 только дышали, 1908 — пикнуть нельзя.

Внутри тюремные условия, протесты, как то: покушение на палачей наших, голодовки, попытки к побегам, не облегчали положения, а служили поводом к еще сильнейшим нажимам со стороны тюремной власти в сторону нашего обезличения. Дошло до того, что без риска быть тут же подстреленным часовым нельзя взглянуть в окно; при поверках или просто обходах начальства нужно было становиться на вытяжку, немедленно и почтительно отвечать, иначе — карцер, мордобитие, а то и розги..

Сколько безвременно погибло сильнейших личностей: одни посходили с ума, другие покончили с собой, третьих без суда и следствия смертным боем отправили в могилу, наиболее активных протестантов перевешали... К глубокому сожалению, за давностью срока, не могу привести фамилий. Припоминаю тов. Бердяева, пытавшегося перочинным ножичком зарезать помощника начальника тюрьмы Давыдова; попытка была неудачна, палач остался жив, а тов. Бердяеву пришлось покончить с собой, что он и сделал, чуть ли не чайной ложечкой, отточенной на подоконнике. Припоминаю Михаила Булычева с завода из-под Симонова и их

камерную историю с нитро-глицерином и другими взрывчатыми веществами, с подготовкой к массовому побегу; припоминаю неудавшийся побег с нашего коридора, когда один заключенный на чердак и на крышу выбрался, а спуститься-то не смог.

Припоминаю длительную голодовку, самый же повод к ней испарился из памяти, ведь так много было всяких поводов; этими большими и малыми протестами жила тюрьма...

На протяжении всей тюремной жизни отрадным явлением маячит иногда тюремная баня. Дни бани были праздниками... Подбирались любители „поголосить“; вспоминаю Никонова (имел ссылку), Анатолия Королева (имел крепость); вспоминаю и других товарищей, принимавших участие в своеобразных банных концертах...

Дни за днями тянулись долгие годы тюремных мучений, выкрики: „кипяток“, „на прогулку“, „становись“, „в карцер“, вспоминаются и поныне, каждый со своим своеобразным глубоким содержанием...

Подходило время к слушанию в судебной палате нашего процесса. Наше дело — дело рабочих фабрики Шмидта, обвинявшихся в вооруженном восстании против существующего строя в декабре 1905 года в городе Москве в районе Пресни.

Вначале это дело предполагалось поставить к слушанию тут же, вскоре после прохоровцев; следствие в то время считалось законченным (я

был выведен особо за нерозыском), но с моим арестом дело отложили, направили к доследованию; вдобавок, вскоре был зарезан тюремной администрацией владелец фабрики Николай Павлович Шмидт, обвинявшийся по этому делу, и слушание затянулось до февраля 1908 года.

На скамье подсудимых из всех шмидтовцев сидели только я, Михаил Залкин (сидевший в Таганской тюрьме) и Купцов, бывший на поруках. Из остальных Иван Коросев был убит, Лыгин, Скворцов раньше еще получил каторгу по другому делу, Михаил Алексеевич Румянцев, Алексей Васильевич „Микадо", Иванов, Илья Федорович Поляков, Иван Полковников, Греков и целый ряд других активных боевиков шмидтовской дружины не были обнаружены и до сих пор здравствуют. Этот факт говорит о сплоченности шмидтовских рабочих, и если были обнаружены я, Залкин, то потому, что полиция раньше нас знала по другим делам.

Пред'явили нам сотую статью, по которой, в случае, ежели бы она была доказана, ожидал нас расстрел или виселица; но доказательств, кроме агентурных сведений да общих трофеев с разрушенной фабрики в виде обгорелого огнестрельного оружия, лежавшего на судейском столе, не было.

Защитниками были Войнов, Малянтович и еще один, представленный со стороны сестры Шмидта... (Андриканес).

После трехдневного разбирательства сотую статью отвергли, но все же признали виновными по 102 статье и, приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства (это так давно было), дали ссылку на „вечное“ поселение с лишением прав и состояния.

Тут же вскоре после суда перевели на каторжное отделение, „сороковка“, камера, кажется, № 39. Началась опять история с измерением лба, плеч, носа, роста, черепа в целом и отпечатыванием пальцев рук, фотографированием „ан фас“, „в профиль“; ну, значит, готовят к новым условиям жизни...

Чут ли не каждый день чудилось отправление, свобода, ширь полей. Куда, как, в каком порядке поведут — это мало трогало, скорей бы лишь из стен тюрьмы...

Все же в каторжном отделении пришлось выдержать еще до 8-ми месяцев.

Наконец, формальности закончены, надели ручные кандалы (браслеты, наручники) и под конвоем с большой партией каторжан отправили на вокзал Брестской жел. дор.

Небольшая эта штука ручные кандалы, и весом не тяжела, но шибко неудобная — куда правая, туда и левая, изволь няньчиться...

Вот самарская тюрьма, Уфа, Челябинск, красноярская тюрьма, наконец, иркутская, где мы пробыли тоже до 2-х недель. Радостная весть: завтра отправляют дальше... Принял нас снова военный

конвой, и мы тронулись пешком на Оеки, это будет верст 35 от Иркутска... Всем, когда-либо проходившим этот путь, вероятно, и до сих пор памятна гора „Цыхтун“ и другие... Конвой скорей спешил освободиться — и в город, а мы, измученные тюремной сидкой, не могли итти быстро, и били нас смертным боем прикладами почти до самых Оек: то тот, то другой из нас тыкался носом в землю, подгоняемый прикладом зверей-конвойных... Наконец, Оеки. Там нас расковали и сдали волостным властям.

Из Оек повезли на лошадях; в Карганаи ночевали на вольных квартирах; дальше дорога скверная, какой-то ядовитый туман висит пеленой, и на под'емах он пронизывает до мозга костей.

Вперед, направо, налево — все степь, степь и степь, но не такая, как в Курской и Самарской губернии, не поля перед нами, не равнины, сливающиеся с горизонтом, а причудливо изрытые котловинами, перерезанные отрогами каких-то гор, к тому же без всякой растительности. Лошади еле берут, половину пути идем пешком... Вот Ользоновское — этапка радостно принимает гостей. Благодаря сравнительному простору, размещение проходит без пререканий.

Этим временем крестьяне с'ездили за волостным писарем; тот нас принял; передача происходила из рук в руки: одна власть сдавала другой, вперед до конечного пункта назначения.

Получили кормовые по 14 копеек на брата, достали картошки, мяса, выпросили котелок и первый раз принялись за вольное кухонное мастерство. Интересно было постороннему заглянуть в эту обитель. Кто чинит прорванное, кто разувается, вешает, сушится, кто разводит печку, кто с чайником юлит, ища пожарче место, а тут картошку чистят, готовясь суп варить; и все это в полумраке при свете малюсеньких ламп-коптилок.

В нашей коммуне — (Василий Особо, Яков Лившиц, Шнит Кремер, Михаил Долгий, Яков Жиленко) — различие во взглядах не мешает нам жить тесной дружной семьей. Мне выпало на долю стрянать; суп вышел на-славу, одно не рассчитал: мало воды налил, и получилась гуща, но такая вкусная, что оплошность прошла безнаказанно.

От Ользона путь лучше, и яркое солнце, как бы радуясь вместе с нами, играет серебряными переливами на кустиках, сучьях, просто на снегу, рассыпаясь игривыми лучами в снежных призмах.

Вот Баяндай, Хогот, Машурка. В Машурке разместили по вольным квартирам; отношение крестьян хорошее, хотя по наружному виду мы не отличаемся от уголовных,—остриженные под бритву, такие же полушубки, халаты, бродни, и лишь марка „политического" открывала сердца крестьян. Это понятно, потому что наши предшественники, жившие здесь ранее, хорошо зарекомендовали себя.

Проехали Хорбат, Качуг; в Качуге вечеряли и пили чай, уходя из этапки к члену 2 Государ-

ственной Думы, тов. Петровскому, проживавшему в то время там; вспоминали прошлое, беседовали о настоящем и предстоящем возможном будущем.

Дальше едем, как бы пересекая реку Лену под острым углом; по сторонам высится чудный строевой лес. Правый берег страшно высок и обрывист; порою громадные скалы висят над дорогой, становится жутко — вот-вот раздавят (были случаи обвалов скал с жертвами и с загромождением русла реки Лены)...

В Верхоленске (уездный город, ничем не отличающийся от обычных сел—строгость только бо́льшая) без часового из этапки никуда не выпускали.

Радость... и удовлетворение, как первой победой: начальство обещалось выдать требуемую одежду (мы решились дальше не ехать и не итти, пока не снабдят одеждой). Главная нужда была в бродняхъ. Бродни, это — такая штука в роде сапог, большие, бо́льшие кожаные калоши без каблуков с пришитыми голенищами желтого цвета и таких размеров, что можно надевать на валеный сапог...

Колокольчики звенят под дугой—едем дальше на тройках (думаю, ни один из товарищей не забудет этот переезд от Верхоленска); часто попадаются острова, где река Лена разбивается на рукава, нагромождая в этих местах горы льдин, торчавших почти вертикально. Берег еще выше, чем Качугский, еще грозней висит над дорогой; порой скалы переходят на левый берег, и река бросается

туда, а правый становится отложе, оттягиваясь, как назад, вдаль, и мы едем уже не по реке, а полем. Стемнело; мы, едущие на передней кошевке, не видим задних, лишь слышим их колокольчики. Вон показался огонек, растет, ближе, ближе, порой скрывается за каким-либо выступом, снова появляется, уже большой, большой; начинаем спорить, — фонарь ли это, построенный, как маяк, или просто костер, но в той же роли. Вот еще огоньки справа, слева. Незаметно в'ехали в село Коркинское. В стороне от дороги, в лощине— блещущий костер, действительно в качестве маяка...

В Пономареве этап разделили, и мы тронулись в Тутуру... Последняя процедура со сдачей, приемкой от одной власти к другой, и мы свободны... Свободны, чорт возьми, без гроша в кармане, без права удалиться из пределов волости. Выходим из правления, встречает ранее прибывшая „поселька". Первые дни поддерживали ранее акклиматизированные, затем мы уже подыскали работенку— подрядились пилить дрова на гольцах за рекой Тутурой; нужно свалить лесину, спустить под голец (под гору), распилить, наколоть, уложить в сажени, и все это по 60 к. с сажени; т.-е. один рубль 80 коп. с куба.

Выходим на работу чуть свет, а ведь расстояние-то от деревни Головных до Гольца верст 5 – 6, пока дойдешь, пока разведешь костер, гляди— уже светает, а день зимний, короткий. Поздно, поздно, уже луна взойдет, возвращаемся домой

усталые, голодные, порванные, но довольные сознанием, что имеем возможность расплатиться за квартиру. Как, чем, в каком размере питались, на это пусть история закроет глаза; первое время доходили до отчаяния, как и в тюрьме, многие не выдержали, пошли в могилы.

Прослышали мы, что в одной из деревень крестьяне убили медведя (крестьяне медвежьего мяса не едят), послали ходока, договорились, купили часть по $^1/_2$ коп. за фунт, сделали варево, жарево, да неосторожно, хозяйка узнала и отняла посуду. С грехом пополам разыскали и посудину, завели, как говорится, собственную. Узнали о нашей „америке" другие группы товарищей, тоже начали покупать медвежатину; цена на медведя стала расти, дошла до 3 коп., а потом и до 5 коп. за фунт. Знакомым с крестьянским хозяйством удавалось устроиться на харч к чалдонам. Часть интеллигентной братвы учительствовала; нашему же брату, мастеровому, первое время по своим специальностям работы не было. На происходивших общих собраниях некоторые из товарищей затрачивали громадные силы к упорядочению колониальной жизни ссылки, но ничего не вышло.

Между тем, в соседней с нами колонии Илгинской была прочнейшая организация, существовала касса взаимопомощи, были вечера (помню братьев Макушкиных, скрипачей, дававших концерты), и вначале жизнь там служила хорошим живым примером для местного населения. В даль-

нейшем и там, у илгинцев, началось разложение, но благодаря тактичности стоявших во главе колониальной организации, организационная работа все же продолжалась...

Перед рождеством 1908 года разыскал работенку по свой специальности на пароходной пристани дотоле еще богатых братьев Минаевых.

Первое удачное выполнение работ открыло путь к последующим. Братва начала устраиваться; я лично получил место на пароходе „Старик" и вскоре с повышенным окладом перешел на пароход „Верхоленец", которому в то время давали капитальный ремонт. Сняли квартиру на Тихом Плесе в семье старого поселенца-москвича Белоусова. Пришла весна... разлив реки... затосковал... потянуло куда-то вдаль, не выдержал и, на удивление знавших меня, загулял, да так, что небу жарко стало.

Устроили вкупе маевку на большой горе против Тихого Плеса. Вспомнили, что нас с установлением реки снова ожидает этапная жизнь... Ведь мы временно были оставлены в Тутурской волости за невозможностью зимним путем отправки к месту назначения, а назначен для отбывания ссылки был Киренский уезд. Нарисовали себе снова картину... Вот придет партия каторжан-ссыльных из Александровского Централа. Вот снова заберут под стражу, посадят в душные речные посудины и под конвоем снова потащат дальше; снова поверки, снова издевательства. Еще пуще затоско-

вала грудь, ну, и порешили: что нам разлив незнакомой еще реки, что нам незакончившийся еще ледоход? Спрятали лодку в кустах на своей пристани, собрали скарб, и вот я, Лева Рудницкий, Степа Ковылкин оттолкнулись от берега вместе со льдинами и пустились вниз по течению, держа путь в Киренск (от Жигалова до Киренска около 700 верст).

Первый привал сделали за Устилвой, 30 с гаком верст отмахнули. Развели костер, сварили чай, картошку, подтащили повыше лодку, прилегли вздремнуть. Что-то заплескалось, что-то зафурчало, и под влиянием рассказов о хозяйничании медведей в этой местности, вскочили, как встрепанные, откуда сила взялась. Моментально соскользнули в воду, попали в быстрину, давай бог ноги... Темь отчаянная. Помню, Лева в веслах, Степа — с топором, я — с кормовым веслом приготовились к самозащите. „В первую очередь рубить лапы, как только схватится за борт, так по лапам, а там веслами понес в обработку“, раздавались шопотом советы. Всю ночь напролет гнали, меняясь ролями, забыв о другой опасности быть разбитыми на „шеверах“ или льдинами, лишь бы подальше от зверей.

Медведя мы так и не видали, возможно, что он и был-то только в нашем возбужденном рассказами воображении.

Трудно передать прелесть этого до некоторой степени вынужденного путешествия. Плывем в дотоле неведанную даль по красивейшей из рек, Лене;

один у руля, посменно, двое—то беспечно растянувшись и глядя в синее небо, то в хозяйственных хлопотах с картошкой, чаем. Дно лодки у нас было выложено плетником, имелся запас дровишек, был сделан треножник; кухня, таким образом, была под боком, и не было особой нужды вылезать на берег, плыви хоть в устье Лены, прямо в Северный Ледовитый океан. Без остановки полтысячи верст отмахали; вот и место, прииск.

Живя в Тутурской волости, мы не имели никаких документов на руках, без них и выехали. На месте приписки нам таковые должны быть выданы, но тут случилась заминка: этап Александровского Централа не являлся еще, а только с ним приедут и тутурцы с постоянными списками. Без постоянных списков документов не выдавали...

Лева Рудницкий и Степа Ковылкин поплыли дальше, а я остался в Макаровской волости, по месту приписки, дожидаясь документов. Тут пришлось тоже подтянуть животы. Подрядился корчевать пни в деревне Скобельской, расчищал место под пашню; кисти рук от работы вздулись до невероятных размеров; вперемежку работал по заготовке дров.

Наконец, получил документы, — какая радость, теперь относительно свободен, да еще на руках, вдвое длиннее теперешних мандатов, „поселенческий билет", где черным по белому отмечено: „имеет право передвижения по Киренскому уезду без города и горных округов".

С одним полотенцем, куском мыла, двумя сменами белья (обе были надеты на себя), вопреки документу, направился в Горный Бодайбинский округ. Степа Ковылкин и Лева Рудницкий остались в районе Киренска; они остановились в селе Банщиково (я был у них на перепутье, и узнал, что жигаловскую лодку у них сперли в Киренске; снабдили меня „липой“ на фамилию тоже Николаева, но другое имя, отчество, вдобавок полноправного крестьянина). Это было в первой половине лета 1909 года; местами оплачивая, местами так, добрался на пароходах до города Бодайбо. Это центральный пункт Ленско-Витимского Горного округа, расположен на реке Витиме в устье реки Бодайбо, в 300 верстах от села Витима, в 750 верстах от города Киренска и 1750 верстах от Иркутска (считая по реке).

Начиная от устья реки Бодайбо и вглубь тайги на 200 с лишним верст в разных видах имеются залежи золота, то в прежнем песке, кальке, как верховое, то на 2 — 3 аршина под землей, то на многие десятки саженей вглубь.

Мне лично, как работавшему в дальнейшем на буровых машинах „кийстен“, приходилось, например, доставать золотой шлихт с 97—98-аршинной глубины, а первая четверть 99-го аршина обнаружила жилу с богатым содержанием золота; такой мощной глубины закладывались шахты на прииске действительного тайного советника Ратько-Рожнова в 70—80 верстах от Бодайбо.

В этот злосчастный горный район потянулась братва.

Не найдя работы в самом городе, продал я имеющуюся вторую смену белья и подался вглубь тайги; помню, шли мы вместе с тов. Извековым. Добрались до Иловайского прииска, там была наемка рабочих на постройку железной дороги,—встали в очередь. В этот день очередь до нас не дошла, а на завтра я обнаружил, что по точно такой „липе“ уже служит один наш же поселыга (одессит Эстерман-Николаев). Пришлось отказаться от использования банщиковской „липы“. Он тоже получил в Банщикове, но прежде меня; поступить на службу пониже, это—навести кое-кого на грустное размышление и обеспечить провал обоим; решил— будь, что будет— пустить в ход свой поселенческий билет...

Стоим снова в очереди; Извекову велели выходить на работу (он поступил по „липе“), подошел я,—возвращают документы обратно: для меня работы нет. Вот дьявольщина, и так живот подтянуло, а тут еще испытание.

Недели полторы хватил основательной голодовки; в конце концов, через управляющего железной дорогой, самого Василия Васильевича Никулина (инженера-москвича), поступил на работу в районе Иллигири, это между Васильевским прииском и Липаевским... Никулину я нарисовал картину, как, находясь в таком положении, „имея хорошее прошлое“, я приду к нему глухой ночью, а то и днем, и не с целью грабежа,

а с целью мести, повырежу и повыжгу до основания живущих растительной жизнью подлецов.

Работал сначала с кайлой, потом, как писец, чертежник, нарядник.

В 1908 году железная дорога была доведена до Бодайбо, только до Васильевского прииска. Работа шла медленно отчасти потому, что большими участками приходилось вести „оттаивание": раскладывались костры, и по мере размягчения земли снимались слой за слоем выемки. Заработок мизерный, квартирно-жилищные условия — отвратительны, и если тянулся в это гиблое место рабочий люд, то только потому, что, авось, дескать, выпадет счастье найти самородок золота. Странное явление... самородков, действительно, попадается много (это целые кусочки и куски причудливой формы золота от $^1/_2$ золотника и до нескольких фунтов весом), но попадаются-то они тем или иным солидным артелям Вятской, Тобольской, Пермской, Рязанской губернии, приезжающим на прииски, как на курорт, в сезоны промывок, с весны до половины сентября,—старожилам же, постоянно там живущим, или одиночкам-работникам, таким счастьем не приходилось пользоваться. Правда, и они видят и поднимают самородки значительного веса, но в шахтах, забоях, т.-е. там, где эти самородки, как текущая повседневная добыча предприятия, идут в кружки под зорким оком надзирателя, нарядчика, а то и смотрителя; пользоваться этими самородками им не приходится.

Другое дело на песках: там та или иная артель или часть ее, работая на подвозке песков с отвалов к промывальной машине, вдруг в тачке при ссыпке, а то и при накладывании обнаруживает самородок, — это уже собственность нашедшего. Недостаток рабочих всегда ощущался, создать для всех хороший заработок предприятию невыгодно, а вот устроить и практиковать периодически заманку в виде „самородка" — шутка для предприятия сравнительно недорогая, окупающая себя в дальнейшем сторицей. Ведь стоустая молва разнесет: там-то, дескать, такой-то поднял самородок, такой-то величины и т. д., и т. п. Создается тяга на золотые прииски в тайгу. Забравшись же к чорту на кулички в глухую далекую тайгу, отрезанную от культурного мира, не больно будешь трепаться. Работай так, как прикажут, ешь то, что дадут; в результате — до невероятности жестокая эксплоатация труда. Максимум прибыли предприятию, даже весь так называемый заработок рабочих возвращается снова в руки предприятия, ибо на руки-то его и не выдают, а механически засчитывают в счет заработной платы всю ту дрянь, которой рабочие вынуждены питаться и одеваться из мануфактурных лавок того же предприятия. У рабочих ревматизм, чахотка от мерзлых мокрых шахт, забоев и пустые карманы. У акционеров предприятия ширятся и животы и карманы от все бо́льшей и бо́льшей выручки.

С окончанием постройки железной дороги я дольше не остался, хотя получил наградные в размере месячного оклада, а подался вглубь тайги. Устроился работать на прииске Ратько-Рожнова в качестве помощника механика; заменял его в механической мастерской, кроме того, работал с пятью буровыми машинами „кийстен“ на разведках новых жил, новых россыпей золота.

Положение рабочих на этом прииске было лучшее: помимо обычной заработной платы, допускался приработок в свободное от занятий время с промытых отвалов. Практиковавшаяся примитивная система промывки уносила значительное количество мелкого золота; оно от сильной струи воды не задерживалось на порожках промывных деревянных скатов и шло вместе с песком, галькой в так называемые промывные отвалы; из этих отвалов нам и разрешали мыть золото. Бывало, за полтора-два часа ползолотника, а то и больше намоешь; случалось, попадались и „таракашки“ (маленькие, до золотника, самородки), вот и подспорье.

В этом районе познакомился я по долгу службы и по любознательности с „старателями“ и с „копачами“.

„Старатели“, это — артели рабочих, договаривающиеся с владельцами прииска, получающие от него тот или иной участок на разработку (обычно с верховым или полуверховым золотом). Все золото, по договору, поступает в распоряжение

владельца приисков по обусловленной цене, каковая обычно ниже рыночной; весь риск предварительных и последующих затрат на оборудование ложится на „старателей“; иногда владелец приисков выдает авансом подсобный инструмент. Эти несчастные, в надежде попасть на жилу, никогда не выходят из кабалы у владельцев приисков, редко-редко кто-нибудь сумеет вырватся и убраться во-свояси в свою Тобольскую, Вятскую или иную губернию. Главный состав „старателей“ вербуется из китайцев, и на них выезжают владельцы золотоносной земли, как большие хозяева на кустарях.

„Копачи“, это—другая порода; это в большинстве случаев старые шахтовые рабочие (забойщики), порвавшие все с хозяевами. Зная в совершенстве расположение шахт, зная состояние, в котором прекратились рабсты в так называемых „выработанных шахтах“, они сплоченными незначительными группами, тайком, проникают в эти шахты и „копаются“ целыми неделями, не вылезая на свет божий. Выбравшись наверх — несколько дней богаты, и богаты по-своему: появляются плюшевые и шелковые шаровары во все Черное море, по две, по три нашейных цепочки, лаковые сапоги, коньяк, шпроты, сигары, бесконечная езда на ваньках, а главное – игра в знаменитый „штос“.

Ловкач, очистивший всех, долгое время подкармливает опростоволосившихся партнеров; всему, однако, бывает конец: ресурсы иссякли, в долг

больше никто не верит. Спускаются опять в подземелье за новой добычей, и так из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. „Копачи" являются кладом для скупщиков золота; работа „копачей" чрезвычайно тяжелая — рискованная. Ведь отработанная шахта называется так потому, что в ней прекратили работу хозяйственным способом, хозяйственную работу прекратили потому, что дальнейшая добыча грозит обвалами, и когда администрация решила назвать „отработанной", она начинает взрывать остающиеся устои клеток, взрывать их для того, чтобы затруднить проникновение в шахты любителей покопаться в остатках, ибо эти любители, копаясь в подземелье и там же промывая золото, засорят стоки воды, что в свою очередь может отразиться на работе других шахт, ибо шахты с шахтами иногда связаны в одну целую систему.

Спуск и работа в так называемых отработанных шахтах запрещены законом; виновных арестовывают, высылают, отбирают все добытое золото; но заработок заманчив, и риск не останавливает: сплошь и рядом случается, что — прорвавшаяся откуда-нибудь вода хоронит под собой несчастных, и никому до них дела нет; узнается об этом от других сотоварищей, знавших об их спуске в шахту и потерявших терпение ждать.

Грешен я человек, задумал бежать в Аляску (золотые прииски Северной Америки), нужны были

деньги, и пришлось испытать жизнь „копача". Два раза спускался в шахты с одной из известных по тайге групп—„Михаила Цыганка".

Глухая ночь... Зайдя предварительно к скупщику золота, взяли продовольствия, выпивки, свечей, и, крадучись, мимо штабелей дров, подхватов, скреп леса, пробираемся к заветной шахте 73 или 77 на Надеждинском прииске; дошли благополучно, шахта запечатана, нашли лазейку, пустив в ход кайлу, топор, деревянную ножовку; опускаемся один за другим, по скрепам выхода, сплошь и в ряд вися и подтягиваясь на руках, и это все в глухой темноте, наощупь. Вот твердая почва под ногами, даем свет, видим четыре коридора штольни: одна из них по течению реки, другая вверх, третья вправо, четвертая влево; в середине руководитель, „Михаил Цыганок", по памяти, где остались брошенными недоработанные столбы клетки, указал путь.

Вначале полусогнувшись, потом уже на коленках, а дальше на брюхе, ползли мы вперед и вперед; местами верхняя, осевшая после взрыва устоев земля так искарежила, скрючила скрепы, подхваты, придавив их вниз, что, только пуская в ход кайлы, ножовку, удавалось проникнуть дальше; добрались, можно встать в рост. Зажигаем несколько свечей, оглядываемся. Представьте себе наше помещение: 10—12-вершковые бревна, подхваты, сдавленные, наполовину переломанные и согнутые под острый угол нависшей земли, как

спички, торчат со всех сторон, цепляясь за нас своими концами. Неподалеку слышатся взрывы,— это ночная смена в соседних шахтах неумолчно продолжает работать во славу золотого тельца. Слышатся треск, скрип, и здесь, в окружающих нас подхватах, сверху сочится вода—вот-вот зальет или придавит.

Жутко, чорт возьми,—вспомнил семью, товарищей, былую жизнь, и запел: „Эх ты, доля, моя доля, доля горькая моя"; ребята механически сначала подхватили, потом рассмеялись, и: „Что раскис, брат? Ничего, привыкнешь, любо будет",— говорил „Цыганок".

Как не имевшему надлежащего опыта в промывке, мне поручили подтаскивать в мешках породы. Недоработанная жила при свете свечей сверкала золотом; казалось мне, ну, сразу стану с „грошами", дорога в Америку обеспечена; но тут, как новичок, я обманулся; из сверкающей золотом жилы нужно выкайливать многие десятки пудов породы, чтобы намыть несколько золотников; самородки на зло не попадались, шла все „белотка". Это, представьте себе, золото в кусочек папиросной бумаги, величиной с булавочную головку; понятно, в такой жидкой жиле многого не найдешь. Ночью работали, днем спали, определяли ночь и день по своеобразному шуму соседних шахт и по имевшимся у нас исправным часам. Спали в сидячем положении на тонких плетняках, подогреваемых снизу свечами...

Закончив работу, специалист просушил золото на железном листке, подогреваемом свечами, отдул пыль, разложил золото по сверточкам в провощенной бумаге, распределив в группе для прятания (в случае, ежели и „всыпемся“, золото во что бы то ни стало нужно пронести, оно в дальнейшем может сослужить службу), и тронулись к выходу.

Четырехсуточная подземная работа не дала ожидаемого результата, и моя поездка в Аляску сорвалась.

Останавливаться на дальнейших годах сибирского житья не стоит.

В апреле 1917 г. я был уже в Москве, где работал на аэропланном заводе Дукса, откуда баллотируясь по Бутырскому району, прошел в числе других 23 товарищей (фракция большевиков) в городскую Думу.

БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ МК РЛКСМ

СЕРИЯ „ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА"

под ред. А. И. Елизаровой и Феликса Кона
орг. П. Посвянский.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Ф. Кон. Из дней ранней юности. Вып. I. 102 стр. Цена 35 коп.
Ф. Кон. Арест и следствие. Вып. II. 68 стр. Цена 25 к.
Ф. Кон. Суд над партией „Пролетариат". Вып. III. Цена 28 к.
Ф. Кон. Этапом на каторгу. Вып. IV, 127 стр. Цена 40 к.
Шотман. Записки старого большевика. 79 стр. Цена 25 к.
[redacted]
Л. Б. Красин. Дела давно минувших дней. 48 стр. Цена 15 к.
А. Петров. Рабочий-большевик в подполье. 128 стр. Цена 40 к.
Л. Ступоченко. В Брестские дни.
Ем. Ярославский. Страничка воспоминаний (1905 г.).
А. И. Елизарова-Ульянова. Воспоминания об Ильиче.
Николаев. Воспоминания начальника боевой дружины (1905 год на Пресне).

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

Ф. Кон. В каторге на Каре. Вып. V.
Я. Шумяцкий. Революционная провинция (Записки пролетария).
Рябиков. На положении провокатора.
Б. Шумяцкий. Красноярское восстание (1905 г.).

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Клара Цеткин. Автобиография.
Васильев. „Окопная Правда".
Пучков-Безродный. Годы, 1905—1914 г.
Н. Семашко. Воспоминания.

„ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА".

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

С. Е. Лион. От пропаганды к террору. Вып. I. 64 стр. Цена 20 к.
С. Е. Лион. Революционеры за полярным кругом. Вып. II. 154 стр. Цена 45 коп.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

С. Е. Лион. Морской побег. Вып. III.
Янович. Из воспоминаний шлиссельбуржца (пер. с польского
П. А. Кропоткин. Побег из крепости.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

С. В. Аптекман. Земля и Воля.
М. Ф. Фроленко. Хождение в народ.
Новорусский. Шлиссельбург.

Цена 25 коп. 01134

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Торговый Сектор Изд-ва

„НОВАЯ МОСКВА“

Кузнецкий Мост д. 1, телеф. 2-08-96.